

**Илья Герасимов**  
*Ab Imperio Quarterly*  
*abimperio.inc@gmail.com*

## **НЕ НУЖНО БОРЬТЬСЯ С ИСТОРИЕЙ**

В своем выступлении на круглом столе «Підсумкова дискусія: До 30-ліття розвалу СРСР. Радянське минуле й радянська спадщина: підходи до вивчення та можливості подолання» я как участник конференции на протяжении всех трех дней ее работы и редактор журнала *Ab Imperio*, через который за 20 с лишним лет прошли сотни исследований советского периода – опубликованных и нет, хотел поделиться с коллегами несколькими наблюдениями.

Первое: несмотря на колоссальный объем новых фактов, содержащихся в новых исследованиях, я очень редко узнаю что-то новое, чего не знал бы в свои советские школьные и студенческие годы. Как правило, при их изложении меняется знак оценки – с плюса на минус (или с минуса на плюс), но сама канва истории от этого не меняется – за очень важными редкими исключениями, например, истории Голодомора. К примеру, советские авторы прославляли чекистов – постсоветские их разоблачают. Но я не видел еще ни одной просопографической исторической, ни абстрактной социологической работы о том, кто и как становился чекистом, на примере одного города, скажем, Казани или Днепра. С детства, их дореволюционной социализации, через войны и последующие события.<sup>1</sup> Очень часто мне встречаются радикальные новые оценки – культурных деятелей, политических событий, институтов. Очень редко – новая их история. В этом смысле современная советская история как дисциплина – это все еще советская история, и в России, и в США, и в Германии. Как в разговоре, который записал в 1970-х годах писатель Довлатов: «какой-то он советский. – То есть, как это советский? Вы ошибаетесь! – Ну, антисоветский. Какая разница»<sup>2</sup>.

Второй тезис, связанный с первым: дефицит качественной новизны исследований связан с тем, что складывание отдельных фактов в единую картину регулируется историческим нарративом, как раз и связывающим факты в «историю». Общепринятый исторический мастер-нарратив заранее предполагает ответы на вопросы – потому что он и формирует возможность задать вопрос. В начале 1990-х гг. историкам казалось, что для полноценного исследования советского прошлого достаточно (1) изменить политическую позицию и (2) получить доступ к закрытым архивам. Во многом это было справедливым ожиданием: не то чтобы антисоветская позиция сама по себе глубже советской, но

---

<sup>1</sup> Важным исключением служит работа непрофессионального историка Дениса Карагодина, реконструирующего просопографию местных карательных органов в Томске, причастных к казни его прадеда: <https://karagodin.org>.

<sup>2</sup> Сергей Довлатов. Записные книжки // Сергей Довлатов. Собрание прозы в трех томах. Т. 3. Санкт-Петербург: Лимбус-пресс, 1993. С. 258.

политически критическое отношение дает шанс для формирования аналитически критического подхода. И без открытия архивов, особенно КГБ, писать советскую историю просто невозможно. Но эти условия сами по себе не гарантируют принципиально нового понимания истории.

Как и во многих других сферах, и здесь украинская историография была впереди, предложив нарратив национальной истории, благодаря которому появился сам язык для рассказа важных историй: украинской революции, Голодомора, антисоветского сопротивления в годы войны. Но если это единственный и господствующий нарратив советской истории, то он дает только временное преимущество. Во-первых, потому что оставляет колоссальные слепые зоны. В частности, он не способен объяснить участие местного населения в Холокосте и Волынскую резню и входит в клинч с такими же националистическими нарративами – польским или израильским, которые предлагают зеркальную интерпретацию той же плохо рассказанной истории. А во-вторых, нарратив национальной истории уже очень архаичный. Методологический национализм, неизбежно «прошитый» в национальной истории, позволяет писать хорошую профессиональную историю на уровне первой половины XX века. Когда же его пытаются соединить с постколониальным подходом, с гендерной историей и даже социальной историей, получаются либо страшные мутанты, либо сама национальная рамка теряет всякий смысл и эвристический потенциал. (Например, если социальная история XVIII в. выявляет «межнациональную» дворянскую солидарность, намного превышающую солидарность с крестьянами той же этничности, или гендерный анализ демонстрирует идентичность определенных практик для региона в целом, независимо от национальности). Я пришел к выводу, что в современной рустистике господствует исторический нарратив, сформированный русскоязычной либеральной интеллигенцией периода Оттепели.<sup>3</sup> Сформировавшиеся в тот период представления о всемогущем тоталитаризме, как и противоположные им представления о социализме с человеческим лицом, лежат в основе современных споров в историографии между неототалитаристами и представителями школы советской субъективности. Историки искусства изучают избирательный литературный или кинематографический канон, сложившийся в 1960-х, который имеет мало общего с культурной средой, актуальной для людей в 1930-х годах. Экономические историки обсуждают индустриализацию и коллективизацию в тех рамках, которые были заданы в 1960-х. А важнейшие сюжеты, которые не были сформулированы тогда, остаются в слепой зоне и сегодня.

Мне очень интересно, как обстоят дела с историческими нарративами в украинистике. Я подозреваю, что, с важной поправкой на роль диаспоры, это тоже воспроизводство мифов и нарративов 1960-х годов – как советских, так и первого поколения украинистов в США и Канаде. Но этот вопрос требует специального

---

<sup>3</sup> Ilya Gerasimov, «Narrating Russian History after the Imperial Turn», *Ab Imperio* no. 4, vol. 21 (2020): 21–61.

анализа. Его начали Андрей Портнов, Татьяна Портнова, Сергей Савченко и Виктория Сергиенко на страницах *Ab Imperio* в статье «Чьим языком мы говорим? Некоторые размышления по поводу мастер-нарратива украинской историографии». <sup>4</sup> Редакторы очень хотели бы организовать круглый стол на страницах журнала, отгалкиваясь от этой статьи – критикуя ее – и обсуждая саму проблему: существует ли единый мастер-нарратив украинской истории, как он устроен и когда и кем сформирован?

Возникает вопрос: где брать новые нарративы? Во-первых, для этого необходимо сознательно задать себе вопрос: а есть ли принципиально иной, более экономный и убедительный способ объединить известные факты в логическое повествование, особенно путем пересмотра привычных границ сюжета (представлений о том, что относится к нему, а что уже часть другого нарратива). Мейхил Фаулер в своем докладе на конференции напомнила о том, что не существовало единой и универсальной версии советскости и внимательному историку необходимо удерживать в поле зрения широкий исторический контекст: не только Украины, но и Средней Азии, Ленинграда или Баку. Кстати, неспособность к анализу широкого контекста служит еще одним важным ограничением национального нарратива и методологического национализма. Реконструкция же этого контекста позволяет – при условии отказа от шаблонов и стереотипов – взглянуть на знакомый сюжет под другим углом, увидеть возможности рассказа иной истории.

Во-вторых, лично для меня очень важно смотреть по сторонам, обращать внимание на современные процессы, которые я воспринимаю как историческую лабораторию. Например, глядя на эволюцию путинской РФ, я по-другому стал смотреть на феномен становления сталинизма (а прежде – победы большевизма). Традиционные нарративы находят объяснения в идеологическом фанатизме партии и ее лидеров, навязанных обществу или поддержанных добровольно какой-то его частью. Путинизм же наглядно показывает, что агрессивные авторитарные режимы возникают из пустоты и фрустрации из-за неспособности заполнить ее конструктивным актуальным содержанием.

И тоталитаристы, и ревизионисты, и национальные историки приписывают большевистскому руководству коммунистический фанатизм, русский национализм, идейный антиукраинизм. Между тем архитектор режима Путина Глеб Павловский писал еще 21 год назад: «Россия сегодня вакантна как государство и как собственность. ... Путин выстраивает рамочную стилистическую модель, открытую для разных форм действия. ... Сегодня мы можем правильно сконструировать Россию. Мы создаём новый суверенитет, который в двадцать первом веке будет известен как “российский”». <sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Andriy Portnov, Tetiana Portnova, Serhii Savchenko, and Viktoriia Serhienko, «Whose Language Do We Speak? Some Reflections on the Master Narrative of Ukrainian History Writing», *Ab Imperio* no. 4, vol. 21 (2020): 88–129.

<sup>5</sup> Глеб Павловский. Тезисы выступления на объединенном семинаре 5 сентября [2000 г.] // Русский Журнал. [http://old.russ.ru/ist\\_sovr/ckp/-200011212pr.html](http://old.russ.ru/ist_sovr/ckp/-200011212pr.html).

На наших глазах из постсоветской пустоты, распада старого общества, отсутствия понимания, зачем гражданам новой страны жить вместе, и при этом нежелания элиты отдавать власть и собственность (власть-собственность) вырос фашистский режим. Ради заполнения внутренней пустоты и отсутствия смысла была предпринята агрессия против Грузии и Украины, а сегодня уже репрессии в РФ вполне сопоставимы по масштабам с раннесталинскими. Попробуйте наложить эту рамку на известный эмпирический материал довоенного СССР – и давно известные факты окажутся вписаны в иной нарратив, другую историю, которая высветит какие-то новые, прежде не замечавшиеся обстоятельства. В частности, станет возможным деконструировать нарративы «советского человека» и «советской субъективности», предполагающие идеологическую ангажированность простых граждан. Появится возможность написать историю, в которой «советское» разводится с «коммунистическим», и это отдельное «советское» оказывается вовсе не обязательно равным антинациональному. Этот вывод подтверждается современной историографией раннесоветского общества: повсюду в 1920–1921 гг. большевики вынуждены были пойти на компромисс с местными элитами и реализовывали их дореволюционные национальные проекты – в Якутии и Центральной Азии, Татарии и Закавказье. Речь идет не о самых радикальных сепаратистских проектах, а о наиболее популярных после 1905 г. федеративных или конфедеративных сценариях. Поэтому, безусловно, является ошибкой идентифицировать советское и антинациональное.

Этот вывод не означает апологию советского как выразителя «национальных интересов» (Тарик Амар), хотя бы уже потому, что не существует никаких единых, всеобщих, объективных национальных интересов. Концептуально это понятие – фикция методологических и политических националистов. На практике же лозунг национальных интересов является лишь одним из популярных вариантов заполнить сущностную пустоту в обществе, не проявляющем солидарную позицию по ключевым вопросам. Сформулированные некими идеологами от имени всей нации «интересы» обычно служат прекрасной основой авторитарным идеологическим режимам и вступают в противоречие с индивидуальными правами человека и многими групповыми интересами (конфессиональных и культурных групп, женщин, политических диссидентов, сексуальных меньшинств и т.д.).

Наоборот, проблематизация единого национального нарратива требует деконструкции нарратива гомогенной советскости. Признание существования очень разных сообществ внутри нации поможет увидеть, как разные группы создавали свои версии советского в меру своего понимания и в результате импровизации, в то время как сам правящий режим был не способен предложить универсальную, четкую и при этом жизненную модель советскости. В этом и состоит задача современных историков: высвободить субъектность советских людей – и коммунистов, и антикоммунистов – из-под контроля гегемонных дискурсов.

Этот презентистский аргумент, санкционирующий обращение к прошлому через призму современных актуальных проблем, современных исследовательских приоритетов, подводит меня к третьему тезису: «прошлое – чужая страна, там все делают по-другому» (Л. П. Хартли). Даже если это прошлое вашей страны, вашего города, вашего села – оно ничуть не ближе и автоматически не становится более понятным, чем прошлое Германии или Аргентины. Там действовали другие люди, в другом контексте, и идентифицировать себя с ними сегодня – величайшая методологическая ошибка.

Популярный сегодня подход к формированию современного отношения к травматической истории ориентируется на задачу создания «жизнепригодного прошлого», *livable past*. Этот подход развивает идею «полезного прошлого» (термин Ван Вик Брукса 1910-х годов).<sup>6</sup> По сути, речь идет о том, чтобы сделать неудобное прошлое максимально беспроблемным. Одни сюжеты лучше игнорировать, другим находить благовидное объяснение, в крайнем случае, перевести обсуждение конфликта в плоскость примитивной моральной бухгалтерии («они первые начали», «они тоже плохо поступали»). Главным стремлением является не столько фальсификация истории (скорее, это неизбежный побочный продукт) а отмена исторической дистанции, «схлопывание» времени и желание перенести исторических персонажей в современность. Для этого их изображение подгоняется под современные стандарты и делаются попытки изменить общественный климат, сделав его более комфортным для такой «исторической пересадки».

На мой взгляд, в основе идеи жизнепригодного прошлого лежит фундаментально ложный посыл. Прошлое в принципе не является «жизнепригодным» для сегодняшних людей, потому что никто не может вернуться в него и прожить его «правильно» в старых декорациях, а также потому, что сама идея исторического прогресса предполагает надежду на лучшее будущее (а не прошлое). Вместе с тем нельзя забывать о том, что в свое время это прошлое было вполне «жизнепригодным» настоящим, а его проблемы, кажущиеся столь критическими с сегодняшней точки зрения, зачастую были результатом тогдашних попыток исправить некие прежние недостатки в иных областях. Я думаю, что перед современными историками советского периода (как и любого другого) стоит двуединая задача: признать, что любое прошлое принципиально нежизнепригодное, *unlivable* с нашей сегодняшней точки зрения, наших политических и культурных стандартов, гендерной нормы и материальной культуры. И объяснить, почему это прошлое было более или менее жизнепригодным для современников. Что, кроме страха смерти, заставляло их принимать социальную и политическую реальность, как они пытались менять ее и адаптироваться к ней, какие их интересы эта реальность выражала и удовлетворяла? Когда-то ведь и наша современность окажется объектом такого же исследования.

<sup>6</sup> Van Wyck Brooks, «On Creating a Usable Past», *The Dial* (April 11, 1918): 337–341.